

Лев Александрович, каковы лично ваши критерии оценки литературы?

— Я читаю текст и слушаю, что во мне происходит. Когда-то Бежин обо мне писал, как о критике, что я пускаю себя как простодушного читателя, как собачку на веревочке, следом иду как хозяин этой собачки и слушаю, что происходит с ней. То есть внутри меня живет простодушнейший читатель. Простодушнейший!

Двойное самонаблюдение у меня в природе. Читаю текст и соображаю: ему (то есть мне) скучно. Ага! То ли текст не тот, то ли я не дорос. Начинается анализ: почему данный текст мне в данной ситуации скучен? Или безумно интересен? Что захватывает? Иногда сюжет. А иногда он дико раздражает. Если понимаю, что сюжетом меня развлекают, бросаю читать немедленно. Но знаете, плохо написанный текст может быть таким же выразительным, как и хорошо написанный.

У Николая Островского плохо написанный текст, но в нем он выразил больше, чем очень многие блестящие литераторы, написавшие в то же время хорошие тексты. Потому что Николай Островский открыл новую реальность.

Достоевского упрекали, что «Преступление и наказание» — желтый полицейский роман. То есть это плохо написанный текст. Но оказалось, Тургенев, который писал фразы лучше, чем Достоевский и Толстой, не открыл того, что открыли они.

— **Вы ищете книгу или она вас ищет?**
— Книга меня ищет. Это судьба. Меня Островский нашел, я его вообще читать не хотел. Со школы был уверен, что это официальное чтиво. А потом книга «Как закалялась сталь» меня нашла. И когда это произошло, я стал искать, что ее породило. Прочел о Николае Островском больше, чем он сам о себе знал. Прочел Андре Жида по-французски. Это было непорочно, ибо Жид был запрещен, в первых, а во-вторых, французского в школе нам не преподавали. Но если очень надо, так и язык выучишь.

Я понял, что Николай Островский — это то же самое, что мой отец. Только талантливее, чем мой отец. В своей плохописии Островский все передал.

— **В творчестве писатель щедрее, чем в жизни? Благороднее? Трогательнее? Давайте проиллюстрируем мои догадки на каком-нибудь конкретном примере...**

— На Евтушенко хотите?
Вы берете его текст и видите дикое количество стихов, которые склепаны наскоро, чтобы поучаствовать в каком-то политическом спектакле. Очень много рационально рассчитанного. И очень много иррационально просчитанного. Это такой ворох хорошего и плохого, смесь при творства, искренности, кокетства... Из стихов (и плохих, и хороших) я начинаю строить модель. Соображать, что за судьба их породила.

Я отлично знаю, что это был за мальчик со станции Зима. И что это был потом за коммувиоажер молодой злости. И что это потом стал за мэтр либеральный. И что это сейчас за полуэмигрант и непонятно что... Я это уже знаю, а если бы не знал, то из стихов бы понял.

Эта личность — порождение невероятных смесей: немецкая, прошедшая через Латвию, кровь, — с одной стороны, украинская — с другой. Потом в Сибири все перемешалось. Два деда в ссылке... Все обстоятельства настолько точно моделируют историю советского периода, что возникает это существо, мальчик со станции Зима. Молодое, ломкое, быстрое... И идет этот мальчик и поет: «Граждане, послушайте меня...»

В 1949 году Евтушенко напечатал свои первые стихи. Только что была война, все ошметинены ненавистью, ищут классовых врагов... Всякая попытка говорить с людьми по-доброму — это вызов. Нарушение табу. Разрушение перед противником. Заискивание перед классовым врагом. Ошметинились пулеметы с обеих сторон, вот-вот продолжится мировая война. А тут идет этот мальчик с шарманочкой: «Граждане, послушайте меня...» И всех любит, и со всеми заговаривает.

Пишет про Сталина, советский спорт, про свадьбы в дни военные... Но появляются и такие строки: «Мне страшно, мне не пляшет, но не плясать нельзя...» Это уже юродивый, который боится каждую минуту если не выстрела, то оплеухи. И этих оплеух Евтушенко дождался...

Эти стихи для меня — строительный материал его судьбы, но не индивидуальности, потому что судьба индивида довольно противная. (Сколько он там с бабами переспал — все в стихах.) Это душа. Любвеобильная, добрая, сотканная в противовес всему.

Лев АННИНСКИЙ: ДАВАЙТЕ ИСКАТЬ СВЕТ

Известный литературный критик Лев АННИНСКИЙ читает в день часов шесть-семь. Бывает, больше. Читает очень вдумчиво, с карандашом в руках, делая пометы на полях книги. Его домашней библиотеке завидуют коллеги-литераторы, писатели. «Из-за книг негде жить», — сетует Аннинский. Здесь он неточен, ибо Аннинский и книга друг в друге растворены, у них единые кровеносная и нервная системы.



Добрые в то время оказались не нужны. Страна была построена на ненависти. И войну выиграла ненависть.

И вдруг появляется отпрыск своего времени, который всех любит нецелесообразно. Евтушенко начали шпынять. Это оказалось великоленно. Все остались в дураках, а он — в умных. И он стал эту роль играть. В стихах это все видно.

Я каждого поэта так читал. Так же читал Рождественского. Так же — Владимира Соколова, великого русского поэта. Рождественский — поэт потрясающей силы, великолены его предсмертные стихи...

— **А что надо прочесть за жизнь обязательно? Что?**

— Надо вовремя прочесть Евангелие. Во-время! Еще в детстве, как сказочку, в которую надо поверить. А если не вовремя, так все равно прочитать. Я очень поздно это сделал. Сначала прочел много о Евангелии, читая русских философов. Но понял, что это великое произведение человеческого духа.

За тысячелетия отобранными текстами стоит читательский миф. Вы читаете и думаете: боже, сколько там всего намешано. Но если вы уже подготовлены, то вычленили близкое вам. Это святой текст. Верите вы в это или нет, неважно. Ну Бога нет, но что-то все равно же есть, как Толстой сказал. Эти тексты носят сакральный смысл, потому что они намолены. Когда вы их читаете, на вас глядят века. И в Коране намоленные тексты.

Человеку надо приобщиться к какому-то мифу. Я приобщился к христианству.

— **Можно всю жизнь прожить и не почувствовать потребности прочитать Евангелие или Коран...**

— Можно даже прожить и ни одной буквы не прочесть. Но мы же говорим о тех, в ком есть какая-то смутная жажда — справедливости, предчувствия того, что за этими видимыми вещами существует то, что мы понять не можем. Вы идете по улице и замечаете, что проложили асфальт. Его намостили в прошлом году. А до этого что было? Колея. А до нее? Может, степь, по которой кто-то проскакал? А почему всадник прискакал в эту степь? И вы начнете углубляться и увидите бес-

конечность, бездну... И зададитесь вопросом: откуда это все? И тогда надо сразу идти к мифам и признаваться себе: «Я верю во все, что вы мне насочиняли». Рано или поздно человек все равно придет к этому тексту. Или ему помогут его найти.

— **Прочли Евангелие. Что дальше?**

— Читать свою национальную классику. Если я чувствую себя человеком русской культуры, то обязан читать свою национальную классику. Надо знать всю эту красную цепочку, эту ниточку и пройти по ней: Пушкин-Лермонтов-Тютчев-Некрасов-Фет-Маяковский-Пастернак-Ахматова-Цветаева-Владимир Соколов... Можно брать плотнее эту нить. «Слово о полку Игореве» надо послушать. Знать свой национальный код. Надо знать, как и почему погибла Анна Каренина. Великого писателя можно разматывать так же бесконечно, как и Евангелие.

У меня сейчас проблема. Мне стало скучно читать художественную литературу, ибо новейшая постмодернистская литература построена на рабской зависимости от того, что постмодернизм ненавидит. А ненавидит он соцреализм, классику. Постмодернисты все это разрушают. Я понимаю, как они это делают. Понимаю, почему — от отчаяния. Это мои дети. Я их люблю, жалею. Но не могу это бесконечно читать.

Сейчас в поэзии много талантливых людей, которые пишут пустоту реальности: смерть Бога, отсутствие божества, ярость, отчаяние, злость... Провинциалы злятся на Москву. Патриоты — на антипатриотов...

— **Кто из современных поэтов, по-вашему, талантлив?**

— Я назвал вам одного, он ушел из жизни — Владимир Соколов. Кузнецов очень яркий поэт. Олег Чухонцев. Тот же Евтушенко. При том, что каждый второй его стих хочется отрясти.

— **А из прозаиков?**

— Ближе всего мне Георгий Владимов, хотя я с ним спорю. Нельзя Россией жертвовать ни ради чего. Владимов его пожертвовал ради того, что считает святым. То, что он считает святым, все равно без России не осуществилось бы, а он думал, что осуществится. Маникин очень интересен.

— **Мы ждали, что перестройка откроет шлюзы, и хлынет все талантливое, ранее запрещенное...**

— Хлынуло, но не оказалось такого действия, которого ждали. А все, что хлынуло, я давно прочел в самиздате: Платонова, Булгакова, Пастернака, Бердяева... Они у меня в пальцах, я их ночами перепечатывал... Ничто так не усваивается, как текст, перепечатанный ночью.

Когда все хлынуло тиражом в тысячи экземпляров, это было приятно, но отсутствовала свежесть ощущения. Свеж был Рыбаков в какой-то момент. Он выявил технологию сыска. Хорошо описана психология Сталина, в этом есть элемент шекспировского начала...

Но это уже ничего не перевернуло. Я думал: вот хлынут тексты — развяжутся языки — начнется саморегуляция. Как человек коммунистического воспитания, я идеализирую человека. Думаю, что человек вообще — больше ангел, чем бес. А если он бес, то понимает это...

Я был уверен, что если развязать языки, человек просветлеет уже от того, что он все скажет. Но теперь вижу, шахтеру в шахте все равно тяжело, и от этого «тяжело» он будет готов на что угодно. Работа человеческая на 90 процентов страшна. И человек на 90 процентов вынужден быть зверем. Это неискоренимо. Все системы воспитания пытались справиться с природой человека, а справиться с ней невозможно. Можно только смягчить.

И когда это стало ясно, стало грустно. Потому что из демократии идет столько же вони, сколько из тоталитаризма. Но тогда она была канализирована. Мы знали: ах, тут слишком одеколоном пахнет. Вон раскрыли. Все смешалось и все стало вонять. Ничего в природе человека не изменилось, просто повернулось другими сторонами.

— **Где выход, Лев Александрович?**

— Нет выхода. Мы не знаем, что нас создало. Поэтому выход каждую секунду ищется из каждой конкретной ситуации. Почему надо быть хорошим, а не плохим, я не могу объяснить. Не могу сказать, как утилитарные моралисты XIX века, что хорошим быть выгодно. В общем-то выгодно. Проще сказать правду и не думать о

том, как потом выкручиваться. Правда — это лучший способ лжи, потому что всей правды ты никогда не знаешь и не скажешь. Но это светлая ложь, которая не запутывает. Она немножко помогает тебе раскрепоститься.

А в принципе выхода нет. Мы все смертны. Потеряем близких. Мы деградируем как личности перед смертью, если будем долго жить. Наше тело умрет — это черт с ним, умрет наш дух. И дай нам Бог передать кому-то то наше духовное достояние, а этого не получится у очень многих. У тебя получилось — у твоих внуков может не получиться. Все очень трагично.

В человеке заложено ровно столько сил, сколько нужно, чтобы можно было все это преодолеть. Но общего выхода не будет. То, что вы спросили, Сережа, — иллюзия коммунистического умосостояния, когда можно найти какую-то ситуацию, при которой все проблемы разрешатся. А такой ситуации нет. Природа человека не изменится.

— **Чем человек старше, тем больше он понимает, что он заложник собственного рождения?**

— Все живое заложник собственного рождения. Мы же нагружены всем этим. Мы заброшены в эту реальность не по своей воле, но уж раз заброшены, надо тануть.

— **Тьма в конце тоннеля по-нагибински?**

— Нагибин был разочарованный человек. Что значит тоннель? Я не понимаю. Почему Россия в тоннеле все время?

— **А так удобнее...**

— Легче, конечно, так. Мы как огромное, лишенное границ пространство. Вечная текущая, вечная опасность... Даже не то, противно, что опасно. Противно, что непонятно, за что и откуда...

Да. Кругом тьма. Значит, мы в тоннеле. А раз так, давай искать свет. Что-то там забрезжило. Подошли — оказалось, это гнилушка. Значит, тьма в конце тоннеля. Нагибин так и пишет. Я смотрю на вещи по-другому. Тебе дана жизнь — это великое счастье. Плохо только одно, что человек как личность к старости деградирует. И я деградирую.

— **Не могу с этим согласиться, Лев Александрович. Почему вы решили, что вчера были умнее, чем сегодня? Вы написали книгу — передали вашу духовную силу. Со мной поговорили — я донесу это до читателя...**

— Но не у всех получается передать. Все рано или поздно распадается — государство, культура... С этим нельзя примириться, но и исправить нельзя. Но это не значит, что в конце тоннеля — тьма. Просто трудно. Всем. Идем по песку.

— **Трудно радоваться тому, что ты живешь...**

— Почему? Трудность неизбежна и радость тоже.

— **Лев Александрович, чего нельзя читать никогда?**

— Лично я не читаю детективов, не читаю развлекаловку. Редко смотрю телевизор. Если только улавливаю, что меня начинают весело развлекать, выключаю его. Мне и без них весело. Некогда развлекаться. Не читаю Маринину, не смотрю сериалов. Научную фантастику тоже не читаю. Идеяка там, смотришь, есть, но обращено это все такой массой... Я даже Стругацких не все читал, а их вообще-то надо знать. Это большая литература. Но сам этот жанр угадки не принимаю...

— **Понимаю, что мой вопрос хромает, и все же... На каком месте сейчас русская литература в общем, в мировом литературном марафоне?**

— На загадочном. Серьезная литература и та традиция, с которой она связана, потеряла почву. Читатель отхлынул. Он занят другим. На место этой литературы двинулось массовое чтиво. Это тоже как бы надо, потому что человек должен научиться ориентироваться в новой культуре. Человек прочитает Маринину хотя бы для того, чтобы знать, как его будут через два дня убивать. Она добросовестно все это излагает. Но то, в чем я вырос, уткнуло изпод ног.

— **Американская литература нас опережает?**

— Там тоже мало читают, смотрят телевизор. Там важен имидж. Если что-то пишут серьезное, то изучают в университетах, это для яйцеголовых, для узкого круга людей.

— **Если взять лучшее в американской литературе, лучшее в английской, в немецкой и лучшее в русской литературе... На каком мы месте?**

— В XIX веке были на первом. Если вы назовете высшие точки истории мирового искусства, то это будут Античность, Возрождение и русская литература XIX века.

Беседу вел
Сергей ГЛЕБОВ